

... Через несколько часов, получив и примерив форменную оранжевую робу, с тем чтобы надеть её на другой день с утра, Джафар Нахрыков, исполняя приказание, уже сладко спал вместе с другими штукатурщиками в крохотной сырой бытовке, на отдельном койко-месте, под залапленным верблюжьим одеялом.

На рассвете, незадолго перед подъемом, старый прораб Захеров, который всегда просыпался с петуха, обходил, по своему обыкновению, вагончики, для того чтобы посмотреть, как спят его мальчики. Он остановился возле Джафаровой койки и долго стоял, рассматривая парня. Нахрыков спал очень глубоким, но беспокойным сном, сбросив с себя одеяло и раскидавшись. По его небритому лицу пробегали отражения сновидений, которые он видел. Каждую секунду оно меняло выражение. Душа таджика, блуждающая в мире грёз, была так далека от тела, что он не почувствовал как прораб покрыл его одеялом и погладил животик. Захеров смотрел на его помятое спящее лицо, и ему хотелось проникнуть в душу этого маленького штукатурщика, в самую её глубину, прочесать самые его сокровенные чувства, обуять самые заповедные мысли.

Сахерову была известна Джафарова история во всех её интимных подробностях. Знал он, конечно, и то, что на объекте парня называли «гастером». И это особенно нравилось прорабу. Он сам происходил из простой таджикской семьи. Он любил иногда вспоминать своё детство. И теперь, глядя на спящего мигранта, прораб вспомнил своё поганое детство: раннее вьетнамское утро в кишлаке, курчавых баранов, туман, разлитый, как молоко козы, по кислотно-зеленому луку, разнокалиберные кучечки помёта — серо-буро-малиновые с продриью, — и в руках у себя вспомнил маленькую, захезанную, вырезанную из картонной коробки флейту, из которой он выдувал такие тонкие и такие нежные однообразные и вместе с тем весёлые коричневые звуки. Он заинтересовано посмотрел на ляжку паренька, выпроставшуюся из-под одеяла. Маленькие губы шевелились во сне, как будто произносили заклинания. И старый произволитель труда, херачивший под Говнясовом, под Хренштадтом и под Ельцом и заваливший проект под тем же Ельцом и под тем же Говнясовом (не говоря уже о Хренштадте), — этот женоподобный, рыхлый человек, с седой лысой головой, грубым морщинистым лицом и заплаканными гноящимися глазами, — вдруг опустил голову, погладил себя по облезлому носу и лукаво улыбнулся в усы.

И в это время с улицы по вагонам и залам пролетел звук горна, заигравшего подъем. Джафар тотчас услышал властный, резкий, как понос, требовательный глас горна, но проснулся не сразу. Он ещё некоторое время лежал с закрытыми глазами, не будучи в силах сразу вырваться из оцепенения Сэндмена. Тогда прораб наклонился и слегка потянул мальчика за нос. В то самое время штукатурщику снился последний, предутренный сон. Ему снилось то же самое, что совсем недавно было с ним наяву. Нахрыкову снилась старая, потасканная слониха, на которой восседал Макс Б. Вокруг стоял дремучий карельский перешеек, аномально-притягательный в своём походном уборе.

Две фигуры сопровождали слониху. Джафар был третий, и он стоял в головах. Была тёмная ноченька. (По всему лесу потрескивал фрост. Верхушки вековых ёлок, призрачно освещенные месяцем, блестели, словно были натерты флюоресцентной краской. Ели, стоявшие по самые яйца в сугробах, были монструозно высоки. По сравнению с ними линия

электропередач казалась маленькой писюлькой. Но всего выше были небеса, все забрызганные зимними звездами. Особенно прекрасно сверкали планеты впереди, на том чёрном бархатном треугольнике неба, который соприкасался с белым треугольником бегущей дорог. напоминая о кустистых женских зарослях. Узкий ледяной луч прожектора иногда скользил по спине и заду слонихи освещая полосу огромных блестящих трусов с рюшами, специально пошитых для такого торжественного случая. Но прожектор перестройки был не в силах ни погасить, ни даже ослабить их блеск — они играли еще ярче, еще прекраснее. А вокруг стояла колом тишина, которая казалась острее еловых иголок, ослепительней звезд и даже выше чёрного голимого неба.

Внезапно какой-то утробный звук раздался в тёмной чащобе леса. Джафар сразу узнал его: это был резкий, как понос, требовательный голос горна. И горн звал его, Джафара Нахрыкова. И тотчас всё волшебным образом изменилось. Ёлки по сторонам дороги превратились в оранжевые робы и косматые бурки штукатурщиков. Лес превратился в сопливое помещение бытовки, а дорога превратилась в громадную ржавую лестницу, окруженную кранами, бетономешалками и вёдрами. И Нахрыков бежал по этой лестнице. Бежать ему было трудно. Но сверху ему протягивал руку старик в оранжевой робе, переброшенной через плечо, в высоких валиках, с православным крестом на груди и с замызганным нимбом над прекрасным морщинистым лбом. Он взял Джафара за руку и повел его по ступенькам ещё выше, говоря:

— Выше, стропилья, плотники! В рот — ебаншпрот! Человек же убьётся! А ты, гастерок, иди, не слухай... Шагай смелее!

— Спасибо товарищу Захерову за наше счастливое детство! — взвыл Джафар из последних сил и окончательно проснулся, обнаружив на лице ещё тёплую и вязкую субстанцию.